

Что же до принадлежности Башлачева к рок-культуре, то вопрос этот, по всей видимости, праздный. Во всяком случае, относящийся не к сути дела, а к тактическим проблемам. Важнее то, что его исконно народные по духу песни с рок-культурой сосуществовали и ей ни в коем случае не противоречили. И если русский рок признает его своим — замечательно! Ему, року, так не хватает козырей для доказательства той очевидной истины, что у каждого времени — свой фольклор, что свою «Камаринскую» и свою «Лучинушку» сочиняет и поет каждое поколение, как бы эти песни ни назывались и в каком бы ритме ни исполнялись: каково время, таков и ритм. В русском фольклоре эпохи рока Башлачев подошел намного ближе других к фольклору изначальному (или, наоборот, не отходил от него), уходящему в глубины национального характера и национальной истории. В борьбе за полноправное место в народном искусстве для рока это небитый козырь — сам себя приведший в рок-культуру Александр Башлачев.

Совет. цирк. 1990. 10 мая

В. Курицын

РУССКАЯ СМЕРТЬ

Устойчивая метафора — вспыхнул и сгорел, как звезда, комета или другая какая астрономия, — необычайно популярна и, на самом деле, очень редко приложима к конкретным художественным фактам. К Башлачеву — вполне. От первых знаков-упоминаний в газетах-журналах, от первой песни и до минуты смерти — и впрямь мгновение, три, что ли, года, пустяк. Черная звезда — в ничто, в ничтожность сконцентрированная энергия, разорвавшаяся гулким былинным резонансом. Но черная и по-другому: черная — русская...

Для тех, впрочем, кто учился в конце семидесятых и в начале восьмидесятых в университете Свердловска, Башлачев — немножко больше и дольше, чем секундная вспышка. Там он был звездой студенческих игр, настоянных на совершенно иной эстетике. До сих пор, например, помнят блестящую акцию, исполненную им и его друзьями: диспут «Есть ли жизнь на Марсе?». Две группы горластых мужиков до изнеможения орут попеременно «Есть!» и «Нет!». Концептуальный стеб — это у него получалось, и, возможно, его ожидала удача на путях нашенского модернизма; он был бы не мертв и известен в другом качестве: что-нибудь вроде «Водопадов» или, если учитывать, что талант оказался серьезным, посерьезнее — что-нибудь вроде адасинского «Дерева». И, кстати, колокольчик на шее был бы, ей-богу, уместнее именно в этом контексте. Но он предпочел модерну традицию: не просто традицию, а самую страшную и болезную — русскую.

В таких температурах, впрочем, воля творца значит мало: не он предпочел, судьба избрала его для гибельной до гениальности роли — прокрутить сегодня, во время последних споров о русском, наглядную, безумную и четкую русскую формулу. Поставить точку, показать ценой жизни, что в отечественной душе одиозная сакральность всегда ходит рядом со смертью.

Экзистенциальная двойственность русского — один из главных мотивов нашей истории и нашей мысли, особенно плотно сконцентрировавшийся в начале века: и в работах «золотых» философов, и в самой исторической ситуации, когда дух и тело оказались по разные стороны жизни, когда фантастический взлет мысли, обретение ею планетарности происходили одновременно с невиданным доселе миру самоубийством великой страны.

Сам факт двойственности — место достаточно общее; конкретные антагонистические пары, конкретные точки противостояния России самой себе каждый автор, разумеется, определяет свои: если верить всем свидетелям русской судьбы, страна только из них и состоит — из этих рваных точек. Что касается основания для классификации, первичного природного фактора, обуславливающего русское самопротивостояние и обеспечивающего его вечное воспроизводство, многие сходятся на том, что фактор этот — географический. Разверстость, необъятность, неосмысляемость огромных русских просторов, то есть нечто объективно явленное каждому россиянину в его бытовой судьбе, вне зависимости от темперамента, характера, национальности и вероисповедания — вот причина беспредельности русской души, ее вечного, нервного немотивированного стремления к пределам чувствования и бытия, ее вечного, по Бердяеву, странничества, ее тяги ко всему абсолютному, конечному, последнему. Сторонники и защитники русского считают эти качества драгоценными: именно ими обеспечены взлеты российского духа и национальной святости. Насчет святости судить не берусь, что касается взлетов — так, очевидно, и есть; планетарность, космичность Федорова, Циолковского, Флоренского, Чижевского, Вернадского выросла именно из русских зерен. Но и страшная наша революция — из них, из беспредельности не знающей тормозов русскости; все наши прогрессистские кошмары — именно наши, а вовсе не еврейские, не грузинские, не латышские, как бы ни пестрела история нашей боли латышскими, грузинскими, еврейскими именами.

Беспредельность простора предполагает крепкий дом: когда за стенами беснуется стихия, по эту их сторону должен скрипеть за горячей печкой сверчок, качаться люлька, разливаться теплый уют. Святость дома, частной жизни — вот вторая половина русского ядра; только это могло бы уравновесить абсолютную душу. Увы, российские весы никогда не были в равновесии: беспредельность перевешивала всегда и смертельно. Прогрессорство перетекло из российского пространства в российскую кровь. Дом, государство, частный интерес — все это, увы, не стало для русского духа

верховной ценностью. Честь всегда была выше милосердия. Даже наши главные дачники — Тургенев и Пастернак — не смогли удержать на распологавших к тому верандах частное чувство: один сочинил пару романов-листовок, другой — роман — смертельное восхищение мощью стихии. Русская культура всегда жаждала абсолютной свободы и добилась того, чего только и могла добиться: море крови и трупов, уничтоженную страну. Теперь, когда схлынула кровавая волна, бывшая апофеозом национального и когда громко говорят о национальном возрождении, природа подарила нам безумного русского Башлачева, чтобы показать, какой мы надрыв и какая мы смерть. Дм. Покровский сказал, что единственным за последнее время композитором, кто воспринял бы народную культуру, как свою, был Башлачев («ЛГ», № 30, 1990). Поверим ему, что касается музыки. Но Башлачев — это и предельно русский поэт, и просто — русская звезда.

Объяснить его как протест, как вызов, как прорыв к свободе из тоталитарного болота невозможно. В этом случае он должен был пропеть свои песни лет на десять, на пять раньше. Но он появился у самых дверей первой свободы, и хотя она не была еще видна нам, простым смертным, но такой поэт был обязан почувствовать, что воздух уже пахнет иначе, что такой рывок из рабства не рифмуется с ситуацией, что так кричать уже странно, поздно, уже неприлично почти перед лицом тех, что жили раньше и круче, но так не кричали. Это было похоже на смех без причины. Но причина была, и она глубже, чем конкретно-исторические коммунистические заморочки. Башлачев специально был дан в почти уже вольный момент, чтобы за счет этого «почти», за счет контраста между периодом первых надежд и его отчаянным надрывом показать, что истинно русской лире не нужны поводы для надрыва; она сама — уже повод, уже надрыв — вечный и независимый от погод.

«Годы вывернут карман — дни, как семечки, валяются вкривь да врозь. А над городом туман. Худое времечко с корочкой запеклось». Это спето в самом конце 1984 года, когда, повторяю, такой автор не мог уже чувствовать «худым» всеобщее в тот момент российское время, что касается частного, личного — пусть оно и было недобрым, но трудно поверить, что Башлачев мог выдать за соборную боль собственное неблагополучие. Образ «времечко — корочкой запеклось», как и многие другие его образы, сильный: не «интересный», не «замечательный», не «глубокий», а именно сильный. Время как кровь, единство их субстанциональной природы — это вне комментариев. Но одно и очень существенное сказать надо: считать это время конкретным, «советским», сегодняшним — значит, просто оскорбить образ: алое время в нем абсолютно, оно не поддается локализации. Это тысячелетнее русское время — время крещения и время революции, в этом образе — русский абсолют, выраженный не только фактурно (кровь), но и структурно: здесь некое предельное, последнее состояние бытия.

Нельзя сказать, что сам Башлачев не связывал свой нагнетаемый трагизм с коммунистическими раздражителями. Напротив. У него, например, есть песня про «абсолютного вахтера» — вахтер как раз не абсолютный, не экзистенциальный, а просто обобщенный хранитель данного идеологического механизма. По крайней мере дважды Башлачев упоминает ГБ. Встречается таинственный «ядерный принц» — кто-то увидел в этом чуть ли не предвестие Чернобыля, что, конечно, чушь, но факт остается: историческая конкретика в его песнях есть. Но одно дело локальные факты, а другое дело — энергия предельной обобщенности каждой единицы («имя имен»), одно дело — воля творца, а другое — объективный смысл таланта. От частного к общему — это не русский путь. Башлачев — желание абсолютного сразу. Бездны или неба. «Нету рая, нету ада, ни х... теперь не надо». Ничего кроме: или — или. Носитель такого таланта — или зверь, или ангел. Его последние друзья запомнили его почти святым. Я знаю людей, имеющих серьезные основания считать его зверем.

Одна из главных его песен, «Ванюша», безусловно, у всех на слуху; но все же воспроизведем ее начало на бумаге, чтобы видеть нагляднее, какова, собственно, завязка большой Ванюшиной беды.

Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки.
Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке.
Душа гуляла. Душа летела.
Душа гуляла в рубашке белой.
Да в чистом поле.
Да прямо-прямо.
И колокольчик был выше храма.
Да в чистом поле. Да с песней звонкой...
Но капля крови на нитке тонкой
Уже сияла, уже блестела,
Спасая душу, врезаясь в тело.
Гулял Ванюша вдоль синей речки
И над обрывом раскинул руки.
То ли для объятия.
То ли для распятия.

Да, но что случилось? Откуда это распятие, когда чисто поле и солнышко на уздечке? Почему, отчего, что за причина? Дальше и впрямь будет страшно, да начало-то — в чем? Иррациональное внелогическое «уже»: капля крови (несомненная родственница времени — крови) уже сияла... Наречение «уже» — свидетельство завершенности, законченности... чего? Что случилось или что такое случилось, должно завершиться этим «уже»? Закончилась та случайная передышка, момент времени, как бы счастливо и неосторожно забывший о российском времени-крови? Завершилось состояние покоя, возможное лишь на несколько минут, — и опять вступает в свои

права русский беспредел? Безобидный жест человека над обрывом непременно рифмуется с распятым мучеником... причем такие незамотивированные драматургией текста вспышки крови в его песнях — не редкость.

Заблуждаться насчет причин не приходится: они в русском менталитете, в постоянно нацеленном на предельные состояния мира, а потому и притягивающем их сознании. Чревата ли такая установка раем, не знаю. Да, эти песни восхищают — более чем восхищают видом вывороченной окровавленной души. Но результат — чаще все-таки не торжество неба, не просветление, а торжество бездны; человек, поющий такие песни, свободен от всего земного, свободен перед лицом природы, как герой античной трагедии, и близок к убийству — чаще себя, но... Падающая черная звезда только по счастливой случайности может не покалечить тех, кто рядом. Для нее есть только воля, свобода и воздух. «Что там было в пути, эти женщины, метры, рубли...» — ничто, по сравнению с, чуть не сказал, «мировой революцией»... По сравнению с русской свободой. Рубли, в общем, ладно, с метрами не совсем ясно, но женщины — вроде бы люди живые... Или как? В душе поэта, вмещающей грандиозные русские свистящие пространства, не остается места для дома: он в принципе антидомашний, антиуютный, собственно антиземной. Все — человечность, всемирность, всенебность? Может быть, может быть... Но эта смерть в жизни, и эта кровь — в песнях...

Он мог пропеть «я люблю» так, что казалось, он может убить. Я почти цитирую чьи-то воспоминания об Есенине — когда милашка Есенин начал читать стихи, казалось, что этот может зарезать... В итоге, оба они свои убийства совершили. Башлачев прошел дорогой своей страны: он показал в три года и в шестьдесят песен, где мы живем. Не как, а где.

Любовь шла в его песнях «горлом»: еще одно уподобление смерти еще одной экзистенциальной категории. Все сводится к смерти. Беспредельная русская жизнь сводится к смерти — такой же русской, такой же вечной, никогда не скончаемой... Мы получили то, за что боролись.

Башлачев — это глас божий, это окрик — «Остановитесь!». Мало нам русского... Если мы не поняли за тысячу лет, вот нам парень, который мог веселиться концептуализмом и соц-артом, мотать на всякие заграничные фестивали, а не гнить в русской земле. Оставить гордыню, веру в российское предназначение: если оно было, — то свершилось уже — просветлением «золотой» философии и уроком национального суицида. А щемящее, русское, солнышко на золотой уздечке... Ну, вот есть тоска, на такой тоске тоже можно вытянуть великую литературу.

Клип (Свердловск). 1991.